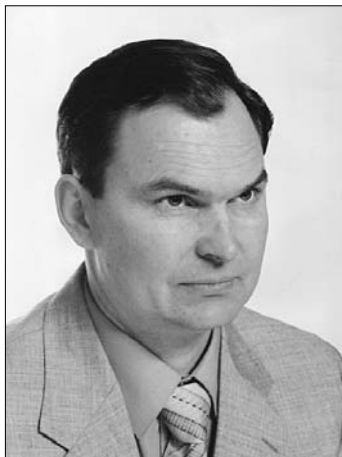


АНДРЕЙ БЕЛОЗЁРОВ



ПРИДНЕСТРОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

РАССКАЗЫ

СОЛИСТ

Убили-таки его, не могли не убить этого юридивого, который не боялся пуль. Звали его все Олег Газманов, хотя это был творческий псевдоним. Настоящего имени и фамилии его никто не знал — городская знаменитость, певец на площадях и базарах, звезда без паспорта и прописки. Знали, что он из отдалённого молдавского села прибывает поутру на дизель-поезде в Бендеры; поёт, пляшет на базаре, в винных погребах и двориках, а ввечеру обратно — с торбой гостинцев, ну, и с деньгой какой-никакой.

...Жителям Бендер тот солнечный день памятен.

Центральный рынок. Глаза разбегаются от даров природы, полонивших прилавки, лотки, тротуар: черешня, клубника, смородина, малина, огурцы, помидоры, кабачки, капуста; и тут же — вино сухое и креплёное в разнокалиберных графинах — “претворённое солнце Молдавии”...

У одного из лотков Олег наяривает в микрофон с обрывком шнура под собственный аккомпанемент, то и дело прерывающий песенный строй: цоканье языком и резкие гортанные звуки изображают перкуссию, звон оркестровых тарелок и барабаны. На груди у него табличка (выведено коряво карандашом): “Песня — 1 рубль”. Репертуар самый популярный: Пугачева, Киркоров и, конечно, любимый Газманов...

БЕЛОЗЁРОВ Андрей Борисович родился в 1966 году в г. Бендеры Молдавской ССР. Учился в Кишинёвском институте искусств и педагогическом институте. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Проза печаталась в журналах “Кодры”, “Молдова литературная”, “Московский вестник”. Член Союза писателей Приднестровья. Живёт в г. Бендеры.

Он был доволен и своим псевдонимом, и своей работой. Всегда хохотал, когда ему заказывали песню. Воспроизводил шлягеры, не попадая иногда в тональность, словно пьяный или ребёнок. В глазах обывателя, пожалуй, так оно и было: впавший в детство или так и не вышедший из него тридцатилетний обалдуй, хлебнувший “претворённого солнца”...

Но опытный психиатр потёр бы руки: дескать, “нашего полку прибыло” — это был сумасшедший, играющий сумасшествие. В том, что Олег “выступал” не бесплатно, была какая-то загадка, обраставшая домыслами и легендами... Трудно было сказать, псих ли он, выбравший имя известного певца по соображениям коммерческим, или ярко выраженный чудик?

Все уж к нему привыкли, — торговцы, покупатели, работники администрации; и он на отсутствие клиентов не жаловался. Иногда, правда, получал подзатыльники от пьяных, а иной раз они пускались с ним в пляс. Менты его не трогали.

Петь он начинал задаром, чтобы разогреть себя и публику. Начнёт, бывало, с Пугачихи, а закончит её тогдашним мужем... Но коронный номер был “Эскадрон моих мыслей шальных” — очень уж яростно он его выдавал, и публика принимала “на ура”, он её прямо-таки повергал в шок...

Люди вменяемые похода кидали ему рубль-другой (деньги небольшие — инфляция съедала ценность валюты). Олег постепенно входил в раж: хохотал, пел, опять хохотал, цокал и фырчал, изображая ударные инструменты, зная, что доставляет зрителям особый кайф придурковатостью исполнения. И всегда подле него образовывался круг зевак — молодых и старых, людей весёлых и не очень, которые, тем не менее, смеялись и аплодировали.

Некоторые шутники пробовали его напоить по-настоящему, но Олег принципиально избегал спиртного: что-то срабатывало в его мозгу, какой-то, видать, инстинкт самосохранения. Напрасно люди думали, что он каждый день навеселе: он был просто весел каждый день!

Недолюбливал Олег военных, без разницы — молдавских ли, приднестровских ли, или казаков, слоняющихся без дела на базарной площади Бендер, однако деньги от них брал. Но бросалось в глаза, что ведёт он себя в их присутствии скованно — это сказывалось и в выборе репертуара, и в отношении того, чтобы повисить таксу.

Даже пропев пять песен кряду и получив за это от одного казачьего чина всего трёшку, Олег не обижался: он отходил в сторону, к продавцам картошки, только чтоб оказаться подальше от этих усатых-чубатых с сырмятными плетками в руках, в начищенных до блеска сапогах со шпорами.

— Зря ты ему трёшку дал, хватило бы и рубля... — говорил один казак другому, опорожнив стакан с “крепльком” и отирая пот со лба.

— Чего жалеть, — отвечал его напарник, постукивая перегнутой в кулаке нагайкой о настил винного лотка. — Пусть дурак поёт... Кто чем может, тем и зарабатывает. Один воюет, другой песни орёт. Давай, что ли, ещё по стакашке — да на круг пора...

Через несколько часов оба эти есаула погибли, отстаивая городской исполком от армады “молдавских конституционных войск”. Они подбили из гранатомета бронетранспортёр, а сами сложили головы на алтарь “народной свободы”, которую приехали защищать в Приднестровье. Но до своего смертного часа они ещё не раз отведают доброго вина, привезённого крестьянами в город на Днестре из молдавских сёл. Ни о какой политике, кроме винодельческой, крестьянин-труженик и не помышлял. И чего делают люди, чего хотят — ему и понять порой непосильно.

...Уже третий год Олег забавлял горожан исполнением песен, причём манера его исполнения уже была доведена до некоего подкупающего абсурда вкраплением гортанных и цокающих звуков. В какой-то степени он предвосхитил караоке, но сделал это в предельно самобытной форме. Со стороны казалось, что он впадал в детство: так зачастую выступают дети, взгрозившись на табурет. А он так жил и этим жил.

Ездил Олег и в Кишинёв, но тамошняя публика его не приветила — уж больно была респектабельна. Объявлялся он и в Тирасполе, но там его от-

шили конкуренты. А вот бендерчане полюбили; его и впрямь ждали, как знаменитость, и привечали, как живую достопримечательность базара.

Он появлялся на торжище, оглядывая пространство *нездешним* взглядом, начинал петь, и базарная карусель от этого как бы пуще разгонялась: продавцы бойчее славословили свой товар, покупатели становились сговорчивее и скорее приобретали его.

Молодые торговки и торговки постарше дружелюбно улыбались, завидев певца, благоволящего женщинам. Олег помнил поименно каждую и порой вгонял в краску, спрашивая:

— А слабо тебе, Валентина, выйти за меня? День и ночь стану тебя песнями убажывать! — И торговки, расплываясь в улыбке, одаривали его горстями мелочи...

Представители власти не трогали любимца публики, даже сами платили ему украдкой. Молдавский полицейский и приднестровский милиционер могли сойтись, чтобы вместе потешаться над придурком... А через несколько часов они же могли лунануть друг друга в ближнем бою из автоматов. Так и случилось 19 июня 1992 года.

В этот день Олег пел особенно... Музыкальный знаток, наверное, признал бы нынче обретение им и слуха, и голоса. Но обывателя волновало не качество вокала, а незабываемая манера исполнителя: яркие жесты и стремление подражать *звёздам* эстрады.

— Давай, Газманов... что-нибудь из Киркорова! Гони! — выкрикивала молодёжь.

— Пускай из “Бони М” споёт! По-английски! — куражились некоторые, не думая о том, как может быть близок страшный час... хотя все знали, что молдавские войска — рядом с городом и в любую минуту могут получить приказ атаковать...

Даже председатель исполкома в голубом галстуке заскочил в это утро на базар за петрушкой, взглянул на Газманова и улыбнулся экономно, поглядывая на часы. Председатель собирался в отпуск, да и не мог он предотвратить неотвратимое. Собираясь покинуть Бендеры, он не знал, однако, что его не выпустят за пределы города казаки, не дадут удрать в Тирасполь, вернут в рабочий кабинет и заставят взять на себя ответственность за судьбу города...

И ему — председателю — спел Газманов и, как старому знакомцу, раскланялся. Всадил ему куплет из Леонтьева про светофор, который почему-то был вечно зелёным...

В тот день ещё один городской голова был на базаре — иерарх церкви, отец Игорь, он пожаловал в именованном настроении — нынче у него был день его Ангела-Хранителя...

Священник шёл по базару и остановился перед Олегом. Тут как тут старушонка в платочке подбежала:

— Благослови, отец святой!

Отец Игорь осенил крестным знаменем старушку, и тут же перед ним склонилась молодая мать с младенцем:

— Пожалей, Господи, и наши души!

И торговка с прилавка подскочила, тусенок клубники священнику в дар поднесла. Хромой Семён, точильщик, в людскую теснину вошёл и тоже получил благословение... И всё это время Олег пел, заливался соловьём, вытягивая романсы из репертуара Александра Малинина.

Но вот пред ясны очи отца Игоря явились двое, снявши форменные фуражки: приднестровский гвардеец и молдавский военный волонтер. Оба молодые, настырные — подступили, как бы справляясь у священника: кто из них более богоутоден? Вероятно, и им захотелось получить благословение на ратный подвиг. Поклонились, замерли...

Олег оборвал куплет из певца Малинина, замерло всё вокруг... И благословил священник и того, и другого, и оба, гвардеец и волонтер, отметили его руку поцелуем. А Олег продолжил куплет, но не заунывно, как Малинин, а строго-выспренне, как Есенин Сергей: “Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь...”

Поднесли отцу Игорю стакан вина, он испил его, стало на сердце веселее, пошagal благодушно к своему подворью... Но скоро настроение изменилось. Первый же орудийный хлопок показал всю зыбкость и убогость текущего бытия. Отец Игорь оказался перед неразрешимым противоречием: ведь он благословлял двух православных — гвардейца и волонтера, — а они всего лишь через несколько часов затеяли бойню... После войны пробовал отец Игорь вновь взять под своё духовное покровительство и оставшихся в живых гвардейцев, и выживших волонтеров. Но и сам бы не мог ответить на вопрос: возможно ли такое покровительство?

А те двое с базара — гвардеец и волонтер, — хоть и изранены были в сражениях, но остались живы. Через пару лет даже оказались в одной больнице после автомобильной аварии — опять никто не хотел уступить другому дорогу... Лежали в одной палате, вспоминали святого отца, а также друзей — милиционеров и полицейских, — которые были убиты.

И она, редкая птаха, которую прозвали в народе Гражданка-Война, Гуля Чижова оказалась в тот день на базаре... Как всегда — в камуфляжке, в начищенных черевичках. Лунолика, чернوبرова, черноглаза, с калачом чёрной косы — в звании майора.

Открыто чувств к поющему Олегу она не проявляла, но всегда с ухмылкой внимала его песням. Денег не давала, дабы не вызвать кривотолков, но платила эмоциями — в замороженной мечтательности замирала под “зонги” певца. Нравился ли ей Олег? Вряд ли. Эта женщина самоутверждалась среди воинственных мужей. В Олеге она, скорее всего, видела избалованного ребёнка.

Она была редактором “Боевого листка”, распространяемого в среде гвардейцев и казачества, а также на производствах, и поражала своим воинственным настроем бывалых офицеров; но вот на семейном фронте явно терпела фиаско: была одинока и бездетна...

Она глядела на Олега. Он глядел на неё, выделяя в толпе, — пел “от сердца к сердцу”...

Дальнейшая судьба Гражданки-Война такова: она стала полковником, железной поступью поднявшись по служебной лестнице до такого чина. И “Боевой листок” её возрос и стал многостраничным изданием. Ну, а сегодня кровавые события ещё только начнутся: гвардейцы из группы сопровождения Чижовой откроют по полицейским, которые окажутся у здания типографии с целью арестовать тираж газетки, огонь на поражение.

Но это будет чуть позже, а сейчас она смотрит на Олега, и в её глазах — слёзы, а он проникновенно дарит ей “Миллион алых роз”...

В тот злополучный день среди толпы слушателей оказались двое интеллигентов: один — местный поэт Влад Фёдорович, другой — йог Хребтищев.

Олег расплясался и распелся не на шутку. Толпа рукоплескала и сама была готова пуститься в пляс, но сдерживала себя: ещё не вечер, а среди бела дня как-то неловко.

— Для меня он — загадка! — улыбался Хребтищев.

— Ничего особенного, — отвечал поэт Влад Фёдорович. — Шут — он и в Африке шут!

— Он дарит отдохновение, дарит радость... — возражал йог. — Вот ты — поэт. Сходил искупался на Днестр, потом выпил вина — напился энергией. И обязан выдать нечто высокое, вдохновенное, чтобы на Земле и во Вселенной стало ещё краше.

— Мда-а... — отвечал поэт. — Я, пожалуй, лучше ещё стакан вина выпью. И никому и ничего не буду должен.

— Это мудро. В таком решении — соль народа... — усмехнулся Хребтищев.

— А ну, Газманов, иди сюда! — загорелся поэт. — А ну, получай рубль, даже два! Спой нам “Старинные часы”!

— В этом Газманове, — с достоинством подчёркивал йог, когда Олег пустил “старинные часы”, — некий символ, душа народа. Горе дуракам-политикам, которые этого не понимают и задумали расчленивать народ...

Оба этих мудрствующих интеллигента оказались счастливее многих бендерчан, оставшихся в тот день лежать ничком или навзничь в подтёках крови... Пуля их пощадила. Оба отделались только контузией и царапинами. Но пока они с моральным превосходством над толпой и снисхождением смотрели на Олега и не думали, что в городе вот-вот начнётся стрельба.

...Стреляли направо, по-крупному. В город входила колонна военной техники. По главной городской магистрали, к которой прилегал рынок, ползла с грохотом машина, ощеренная жерлами пушек, расстреливая из пулемётов всё, что попадалось на пути, всё, что двигалось и, казалось, могло оказать хотя бы малейшее сопротивление.

Рынок к тому часу уже заметно опустел. Услышав вблизи пулемётные очереди и хлопки мин, люди засуетились, растеклись с площади, забрались в щели... Были уже учёны: здание полиции, находящееся в пятнадцати минутах ходьбы от базара, обстреливалось приднестровской гвардией не раз. Ныне же не пистолеты и автоматы доказывали *суверенитет* и *целостность республики*, а танки и бронетранспортёры. С визгом неслись мины, трещали очереди пулемётов и автоматов.

Так началась *приднестровская мясорубка*.

Но базарный певец Олег Газманов продолжал петь! Хотя всех его почитателей словно ветром сдуло!

— Боже ж мой! — кричали торговки, укрываясь за прилавками, за мешками с мукой, сахаром и картошкой.

Пули дзинькали отчаянно, всё ближе и ближе, били о металлическую трубу каркаса, вспарывали кули, вспенивали столбы мучной и сахарной пыли... И вдруг *всё это белое* орошалось красным, и тогда движение между мешками и прилавками замирало...

Но Олег всё пел, взгромоздившись на бочку, как на сцену.

— Куда бежать-то?! Где прятаться? — кричали пробегающие мимо него люди, спотыкаясь о лотки с раздавленной клубникой и черешней.

— Сюда! Сюда-а!

— Да помогите же ему! Видите, кровью истекает!

— Этому уже не помочь! Убитый он!

— Вон ещё один!

— У-у, сволочи!!!

Убитых и раненых было всё больше, но Олег пел.

Даже когда от взрыва рухнул навес, Олег пел, не замечая ни грохота, ни пыли.

— Уходи-и! Артист чёртов! — кричали ему пробегающие мимо гвардейцы.

— Слезай с бочки!

— Беги в укрытие, дурак!

Но он, будто заколдованный, пел. Пел среди пуль.

Легенда, которая родилась в умах переживших войну бендерчан и теперь передаётся послевоенному поколению, утверждает, что Олег Газманов, настоящую фамилию которого так никто и не выведал, во время обстрела, находясь на пересечении пулемётных очередей, пел, взирая на небо. Но не шлягеры эстрадные, не попу и тем более не шансон. Пел он редчайшей разновидностью тенора, преисполненной нежности и чистоты, арии из мировой оперной классики.

Никаких характерных прищелкиваний языком и гортанных звуков, изображающих ударные инструменты и прерывающих свободное течение вокала. И посвящал он своё вдохновение не публике, а небу. Он посвящал его жертвам — тем, кому ещё суждено было погибнуть в этой некогда мирной, единой, безмятежной стране...

Отброшенные назад волосы, напряжённые черты лица... В голосе — жажда света и прозрения. И пафос скорби.

При исполнении оперы Генделя, как утверждает молва, — и у молвы есть свои музыкальные специалисты! — на словах “Моё сердце обливается кровью!” жизнь Олега оборвалась.

А ещё молва утверждает, что Олег Газманов вовсе не был дураком, зарабатывающим на рыночных площадях Молдавии. Музыкальные критики утверждают, что он в своё время окончил консерваторию по классу вокала, учился у самой Марии Биешу, всемирно известной Чио-Чио-Сан. Но театральная судьба и знаменитые подмостки оказались не его стихией — не дались! Вот он и бродил по городам и сёлам...

За телом Олега Газманова так никто и не приехал, хотя к нему на родину и отправили весточку. Может, у него и не было ни родных, ни близких...

ХАРОН

Мысль о том, что кабину его трактора пронзит пуля, шальная или прицельная, вот на этом перекрёстке или на следующем, доставляла ему какое-то удовольствие, вернее, он испытывал знобкий, леденящий душу страх и одновременно удовольствие от этого страха...

Не то чтобы Алесь накликнул на себя смерть, нет, он просто свыкся с её присутствием. Он просто делал своё дело, и ему не мешал страх оказаться под огнём.

С самого начала войны Алесь знал, что он будет делать. Ведь и трактор его с кузовом впереди по изволению начальства “Спецзеленстроя”, где Алесь работал с первой трудовой графы, разрешено было содержать при домовладении. Соседи привыкли, что спозаранку из ворот его дома выплывает дребезжащей ладьёй трактор, за рулём сидит Алесь в чёрной робе, а ввечеру он обратно выруливает из тесного переулка. Алесь даже на обед не приезжал, предпочитая столовку; некому было его приветить: у пятидесятилетнего труженика не было ни детей, ни жены, ни любовницы...

Вот и сейчас никто не дёргал его за рукав, не останавливал, строго покрикивая или умоляя слёзно: “Куда ты поехал, окаянный? Пусть другие ездят! Хоть режь — не пуцу!”

Но Алесь хранила не только судьба, но и, как ни странно, враждующие стороны. Они будто выдали ему билет в будущее, каждый раз слыша тарахтящие звуки его колымаги в затихших кварталах и суеверно провожая её за поворот. Оставляли его в живых, потому что промысел его был на руку и тем, и этим...

Соляркой он был обеспечен. Воля случая. Несколько бочек горючего начальник разрешил хранить рядом с трактором, зная, что Алесь не падок на левые заказы — доставить клиенту на дачу мебель или урожай на рынок... К Алесю, признаться, вообще никто и ни за чем не жаловал...

Может быть, потому, что был он отрешённым, молчаливым и нелюдимым. Как монах или трудоголик. Пить он не пил, а то бы давно утонул в бутылке. И ходил в чёрной спецовке круглый год, даже отправляясь в магазин за продуктами; и в кинотеатр раз в месяц — тоже в чёрном. Без претензий. Будто знал, что рано или поздно случится в его жизни что-то важное, самое важное, что и откроет его душу...

Алесь никого не винил в приднестровской войне. Чтобы обвинять, нужно было встать в строй. Будучи наполовину белорусом, а на другую — украинским молдаванином, как и большинство населения региона, где исторически сложилась такая мешанина кровей, он понимал одно: над этой бойней стоят силы сверхчеловеческие, им виднее, как управляться на земле.

За день Алесь пересекал на своём тракторе враждующие блокпосты раз по десять. В первые дни он увозил больше трупов, чем потом, через несколько недель. Нынче под шальные пули попадали лишь праздно шатающиеся или слишком любопытные... Воюющие стороны не удосуживались подбирать своих мёртвых, а вот Алесь, не имея на то никаких директив, руководствовался совестью: кто, как не работник “Спецзеленстроя”, ответственный по цеховой принадлежности за чистоту города, возьмётся за уборку последствий военного времени — мертвецов, которые тоже ждут... Несколько сотен невинных горожан полегло, просто гражданских, среди которых много одиноких, неопознанных, забытых...

Алесь в первые часы первого боя был оглушён в огороде снарядом, выпущенным из системы “Алазань” — земля умягчила буйство разрыва; асфальт усугубил бы последствия — повезло. Перемогая боль в голове, он кинулся в сарай, чтобы укрыть досками бочки с горючим, но там и упал возле бочек, провёл в бессознательном состоянии неизвестно сколько времени. Когда же открыл глаза, то оказался возле своего трактора, который не имел никаких повреждений, лишь несколько маленьких вмятин на кабине. Будто по команде, Алесь взялся за дело — поехал к эпицентру событий.

Занималось утро. Светлело. В Алесья стреляли. Но он не боялся! Под обстрелом он загрузил на трактор несколько убитых, так и оставшихся лежать посреди улицы... Это была какая-то манифестация с его стороны, почти вызов! По обезлюдевшему городу, местами лежащему в руинах и пожарищах, в утренний час сразу после прекращения огня тарахтящая, дымящая сизыми выхлопами “ладья” Алесья везла мёртвых людей с одного берега на другой... Из одного царства — в другое...

И рейсов таких он сделал немало.

Документы у него не спрашивали — всё было и так понятно.

“Проезжай, не останавливайся! Быстрей, быстрей!” — кричали гвардейцы на посту и казаки, махая руками и пряча взор от возниц, готового, как укор людям с оружием, вставать на досмотр. “Репеде, репеде!” — и молдавские волонтеры у огневых точек, метрах в двухстах от приднестровских по ходу движения колымаги, закрывали лица, поскольку были так же суеверны и боялись накликать на себя беду.

Однажды Алесья транспортировал семью. Жертвами миномётного обстрела стали отец, мать и дочь. Родни, видать, у них не было, а если и была, то поди найди её, чтобы подобрать после налёта и похоронили честь по чести... Словом, дело было за Алесем. Он был крепкий парень, поднял в тракторную тележку отца и мать, а с дочкой вышла заминка. Она была не тяжела, но у Алесья залило слезами глаза, когда он увидел, разглядел при свете солнца не совсем сомкнутые синие глаза ребёнка. А когда он укладывал девочку возле отца и матери, то как будто — показалось, конечно! — услышал от неё тихое: “Спасибо!”

Эта девочка теперь не выходила у него из головы. А позднее он узнал, что семья была интернациональная. Отец — русский, мать — молдаванка, а девочка? А девочка — просто ребёнок...

Через несколько суток кровавых столкновений Алесья уже не свозил мёртвых на кладбище в уготованные им общие могилы. По распоряжению горсовета, возобновившего функционирование после вынужденной анемии, руководство железной дороги выделило холодильные секции. Это было требование здравого смысла: всё равно трупы будут выкапывать из захоронений для опознания, так что лучше поместить их пока в холодильные камеры...

Алесья работал по-прежнему, у него даже маршрут не изменился — каждый день он ехал через поделенный город, через оба поста.

Но и ближе к финалу войны, когда противники уже самостоятельно контролировали вопрос с *выбывшими из строя*, Алесья всё равно продолжал совершать свои ходки, посещая обе части поделенного города.

Выезжая на окраину, где город был хорошо виден с вершины, Алесья глушил мотор, смотрел с холма на виноградную долину, на пульсирующие в дымке заводские корпуса и дома городских жителей. Кое-где тянулись шлейфы пожарищ после ночных обстрелов или же огневые всполохи. На *своей* территории казаки выкуривали снайперов; на молдавской — колонны с гуманитарной помощью выли сиреной, призывая обывателей к бесплатной раздаче провианта...

Алесья испытывал даже дискомфорт от невозможности быть столь же полезным, как в первые дни войны. Но иногда, слыша выстрелы или разрывы, он вновь устремлялся на своём тракторе к месту событий. Под рухнувшей оградой заводского корпуса или поблизости от свежей воронки он находил убитых и перевозил их в холодильные камеры. Ежели встречались подающие признаки жизни, Алесья ощущал одновременно и радость, и какое-то разоча-

рование, словно он оказался лишним. Но и в такой ситуации он был нужен: отвозил раненого в больницу.

...Когда Алесь впервые вёл трактор к кладбищу, он сбавил ход у приднестровского поста; казачки высypали поглазеть: не было ещё никаких указаний, признавать или не признавать самодеятельность Алеся.

— Так, брателло, повертай! — распорядился чубатый есаул. — Зачем нам жертвы? Через двести метров “румыны”. Они и тебя уложат в кузов, а трактор и твоя голова — наперегонки по склону к нам!

Алесь усмехнулся, заглушил мотор. Он не собирался вступать в полемику, знал, что всё образуется само собой. Куда, как не на кладбище, везти мёртвых, а оно располагается на занятой территории.

Через минуту явился, слепя лампасами, некто постарше званием, с окладистой седой бородой.

— Не кипятись, есаул... — взял за плечо молодого подчинённого. — Не видишь, что ли: ладья Харона! — проявил он начитанность, поигрывая нагайкой. — А это — сам Харон!

— Что за ладья? — тронул фуражку над чубом есаул, не понимая, о чём идёт речь.

— Та самая ладья и тот самый Харон, что перевозит в страну мёртвых, — старший отмахнул Алеся нагайкой: мол, поезжай! Добавил вслед:

— Никто его там не тронет... Он мёртвых везёт. Вот возьмём высоту, тогда и Харону будет попроще.

На враждебной позиции, действительно, никто к Алеся не подошёл. Видимо, изучили с высоты в бинокли, что за груз он везёт в тракторном кузове. Алесь, по большому счёту, был всем выгоден, потому что собирал в свою “ладью” всех, без национальных различий...

А прозвище Харон, как ни странно, приклеилось к Алеся по обе стороны фронта. Алесь был единственным из живых, кто пересекал по несколько раз в день линию огня — он стал настоящим проводником в *Царство Мёртвых*.

Однажды казаки решили задействовать Алеся в операции. Казаки — они казаки и есть: им бы только удаль свою проявить да по задумкам оказаться впереди воинства! Придумали они Харону иную миссию... Алесь должен был поддехать якобы гружёный *своим грузом* к вражескому блокпосту, на котором был установлен крупнокалиберный пулемёт. Ему велели выйти из кабины трактора якобы по нужде, или чтобы справиться у “румын” о солярке, которая некстати закончилась, и в этот момент, укрываясь за стеной полуразрушенной постройки, активизировать радиовзрыватель.

После большого взрыва подтянутся казаки на лошадях — и высота будет взята! Всё просто: обычные провода мертвецов, которых необходимо доставить до места... Алесь только усмехнулся, выслушав их план, головой кивнул.

Ночью приспособили трактор для последнего выхода в мир грешный, для последней работы, которая должна послужить в самоотверженном деле борьбы с врагами.

В назначенный час трактор Алеся миновал казачий пост, в тележке, под дерюгой лежал якобы труп, на самом деле — взрывчатка. Впереди — пост молдаван, цель операции.

Алесь испытывал вдохновение. Трактор, казалось, сегодня тархтел громче, подбегая к молдавскому блокпосту. Военные вышли из укрытия навстречу приближающемуся Харону. Наконец, мотор заглух, трактор остановился.

За время своих поездок Алесь выучил наизусть загорелые лица каждого волонтера, приписанного к этому посту; видел их и по отдельности, и с командиром, когда тот строил их, ругая за что-нибудь или давая указания.

Рослые, как на подбор, парни: остриженный коротко Петрике, Ион с шаровидной кроной-головой, Григоре с колочим взглядом из-под густых бровей, лысоватый Тудор...

— Что-то у тебя мотор сегодня разорался?

— Газуешь сильно!

— Лётчиком себя почувствовал? — смеясь, тараторили по-молдавски окружившие трактор вояки.

Алесь их языка не знал, отмалчивался.

— Сорвёшь агрегат...

— Форсунки и стабилизаторы...

— А у нас перепонки сорвутся...

Трактор Алесь остановил с расчётом — прямо у блиндажа, из бойницы которого выдвигалось чёрное жерло пулемёта.

Алесь думал: как бы собрать их тут побольше, делал вид, что с трактором есть у него нелады. Он поджидал пятого — командира, остававшегося, вероятно, в блиндаже. Но вот и он, Чубэр, — подтянутый, в тельняшке, — вышел из бетонного укрытия. По усатому лицу его пробежала тень. Спросил сухо:

— Петрике, Ион, что случилось? Какого чёрта ему тут надо?! Давай... убирайся! — заговорил он с Алесем по-русски. Полнобопытствовал:

— Сколько везёшь? Из “наших” кто есть?

Алесь ответил:

— Везу достаточно. Шестерых!

— Шестерых? — удивился офицер. — А наших сколько?

— Пятеро ваших, — Алесь вытащил из-за пазухи дистанционное управление. — Пятеро! А всего будет шесть...

Никто не успел опомниться. Только в последний смертный миг в их глазах блеснул неистовый страх. Забрал Харон пять жизней молдаван и одну свою... Блиндаж был разрушен, огневая точка подавлена.

Мог ли Алесь выжить, если бы спрятался, как ему велели казаки, за стеной в десятке метров от дота? Возможно. Но он даже не вылез из своего трактора, собрал постовых вокруг него, чтоб уж наверняка...

С диким порывом ветра, с гиканьем и цоканьем копыт ворвались казаки на разрушенный взрывом пост. Алесь — казаки это в бинокли видели — повторил подвиг времён Великой Отечественной...

Наверное, Алесь, который в жизни не умел улыбаться, *летел теперь над миром* и улыбался... — улыбался всему, что происходило и будет происходить внизу: ликованию казаков, пришествию в город миротворцев, мирному строительству, возведению памятника ему — Харону — “от лица благодарных” горожан, празднованию десятилетия республики, а потом и двадцатилетия её...

Посмертно Алесь был награждён президентом республики, а молдавские военные — Петрике, Ион, Григоре, Тудор и Чубэр-командир — верховными начальниками своей страны.

Отпевали их всех в местной церкви по православному обряду. В цинковых гробах.

АНГЕЛ

В город на Днестре нагрянула съёмочная группа с маститым режиссёром Резонтовым — выдать в итоге нечто фестивальное. Фильм игровой про местный сепаратизм — это модно.

Горожане к миссии киношников отнеслись с пониманием: кто в массовых сценах готов был играть, кто дом или участок для съёмок предоставить, кто транспортом подсобить. Кроме выгоды был и моральный стимул: “Никто не забыт, ничто не забыто!”

Режиссёр-креативщик нервно втолковывал оператору про “наезд” на кладку стены, испещрённую небутафорскими рытвинами от пуль и осколков. Оборачивался на актёров, которые ждали своего часа в креслах-шезлонгах, выискивал главного исполнителя, одетого, как и его “боевые” партнёры, в заляпанную кетчупом и присыпанную мелом рванину.

У Резонтова, однако, многое не связывалось в понимании приднестровской войны. Потому и прибыл он сюда: разобраться на месте, а не отснять фильм в павильонах Мосфильма и в ландшафтах за МКАДом.

Казалось, сценарист потрудились в архивах, и аналоги подобных социальных катаклизмов уже имелись, но что-то в цельную картину не складывалось. Можно было бы выехать на колорите отношений: между командирами и ополченцами и казаками; между конституционной армией и обывателями (по сути, молдавская армия расстреливала мирных граждан); наконец, между самими враждующими сторонами, которые вели себя по отношению друг к другу иногда с неоправданной жестокостью. Можно было бы... Если бы не суровые и одновременно угодливые горожане, сыплющие показаниями...

— Ты должен сыграть то, что осталось между строк! — вводил в роль режиссёр главного героя.

— По сценарию, — отвечал исполнитель, — я вхожу в раж после первого мной убитого. Начинаю крушить всё подряд. Рэмбо... Ход обычный, ничего особенного...

— Нет, это не так, — возражал Резонтов, посматривая на живое кольцо сгрудившихся за флажками местных жителей.

— Накануне войны в церкви два врага стояли рядом, и оба припадали к кресту и к руке батюшки. Вера скрепляла их, а не разделяла...

Актёр неопределённо кивал. Оставив исполнителя, Резонтов приблизился к местным жителям:

— Так что же у вас тут произошло?

Но вразумительного ответа от стоголовой толпы получить сразу ему не удалось. Тогда он дозволил слово молвить старому-престарому человеку.

— Жарил нас Кишинёв на адской сковородке! Палили во всё движимое и недвижимое. А вы в граде столичном и в ус не дули!

Старика перебила женщина средних лет:

— Поутру всё тихо было в ту пятницу. Часа в три пополудни дети гоняли мяч во дворе, и мой сын пулю получил. Теперь к креслу прикованный! Сколько комиссий прошли, а к инвалидам войны не причисляют... Случайная пуля, может, снайперская... Ведь война официально началась в семнадцать тридцать...

Тут загудели и другие:

— Военные волонтёры вошли в дом, приказали надеть тулуп и ушанку — в сорокаградусную жару! — и... бегать в кукурузе... “Выпас баранов” это называлось...

— Дядя-режиссёр, глядите: часы убитого...

— Такое и представить трудно, товарищ режиссёр. Не только русские страдали здесь в войну, — говорил чернявый человек с молдавским акцентом. — Не только сражались за идеалы, товарищ, — а бились с братьями... Мой сродник...

Его перебил опять женский голос; женщина была пожилая, в тёмной козынке:

— А мой сын в ополчении был. Убит на третий день войны, но и сейчас живёт... Хотите удостовериться? Приходите в ремонтные мастерские... На закате!

Со всех сторон сыпались свидетельства в подтверждение ужасов войны. И — ни намёка на раскрытие её причины! А ещё люди ждали возможности заработать ставку в массовой сцене: расстрел автоколонны у стен древней крепости, исход беженцев по мосту через Днестр, панихида в память жертв террора у исполкома... Но батальные съёмки на сегодня не планировались.

Режиссёра Резонтова интриговали артефакты. Ведь сам игровой сюжет можно было бы и впрямь снять в студийных условиях, не заморачиваясь натурой.

С оператором на этой ленте он общался как никогда плотно. Тот “кланялся” с переносной камерой каждому “розану” на асфальте от разрыва — мог различить, где сработала мина, где граната. Знал оператор наперечёт и руины, к которым ещё не поспела рука реконструктора-застройщика. С трепетом оглаживал известняк с росчерком осколка мины или пули.

А режиссёр Резонтов всё пытался постичь: зачем сплавленному в горниле эпох народу потребовалось разделяться? Ведь по прошествии времени яс-

нее ясно обнаруживаются тенденции к слиянию — взять тот же Евросоюз, прочие блоки, политические и экономические...

Православные убивали друг друга и, вполне возможно, ещё будут убивать. Народ, как и прежде, — тело без разума, которое калечит себя? Что должно “стрелять” в фильме: адепты сепаратизма или национализма? или персонажи подвига и человеческой справедливости?

Во время съёмки ключевой сцены недовольный реакцией героя в момент убийства врага Резонтов закричал в мегафон исполнителем главной роли:

— Нет, я тебе не верю! Гнев в тебе спит!.. Бей его, иначе он тебя... Ещё дубль!..

И тут неожиданно на крики режиссёра отозвались из толпы за ограждением:

— Хочешь убить молдаванина? А кто придет к тебе в Москву чинить унитаза? Плитку мостить? Улицу мести... — Он говорил с молдавским акцентом.

Его поддержала женщина, у которой сын стал инвалидом от нелепой пули:

— Ни медицины, ни сострадания к людям... Как оторванные от всего мира сидим. Была б единая республика, может, и специалисты бы нашлись, поставили бы моего сына на ноги!

Толпа загудела, завелась:

— Да, были времена. Полные поезда в Кишинёв едут: кто на учёбу, кто на работу, кто в театры, в цирк, в зоопарк...

— А теперь сами, как в зоопарке, живём — с паспортами непризнанного государства.

— Кордонами обложены, таможнями. Комендантский час на десять лет растянулся...

— А ведь перед войной планировался чуть ли не мегаполис: Одесса—Кишинёв... Скоростное сообщение...

Старик припомнил:

— В царскую эпоху конки часов за десять до Одессы могли домчать. Паровозы — за пять. А сейчас на таможне люди стоят столько же!..

— Приднестровцы вместе с молдаванами скитаются по России, ищачат за копейки. Поедешь на стройку, а тебя там и сбросят с крыши перед зарплатой!

— Гражданин режиссёр! — вмешался рослый милиционер. — Разрешите навести порядок. Никто не будет мешать съёмочному процессу.

— Нет-нет, — отозвался режиссёр Резонтов. — Всё это очень кстати. И вы присоединяйтесь, и вам слово дадим...

— Господин режиссёр, у нас есть ребята надёжные, вы только приказать извольте, — заговорил осанистый мужчина чиновного вида. — И казаки, и пожарники проявили себя положительно. Стрелять обучат актёра вашего, продублируют. — Он усмехнулся:

— Тут у нас *реальных* героев хоть отбавляй!

— А мой сын в ополчении служил. Убит на третий день войны, но *и сей-час живее всех живых*. Хотите удостовериться? Приходите в ремонтные мастерские. На закате! — словно заклинание, настойчиво повторяла женщина в газовой косынке.

— Это наша городская блаженная, господин режиссёр, Нина Фёдоровна. Не обращайтесь внимания, — стали пояснять режиссёру со всех сторон. — Её сына убили из гранатомёта. Ничего от него не осталось, вот она и свихнулась.

— Сам ты свихнулся, чёрт толстомордый! — выкрикнул кто-то из толпы. — Нина Фёдоровна у нас святая...

Оператор всё это незаметно снимал — по знаку режиссёра, хотя режиссёр ни в одном из своих фильмов подобную документалистику не использовал.

Съёмка продолжалась, но теперь казалось, что не только режиссёр — вся труша учитывала *голос толпы*, подчинялась невольно не прописанному в сценарии сюжету...

Уединившись в гостинице на берегу Днестра, режиссёр просматривал отснятые материалы. Отключил бледные, как метки карандаша, голоса в кадре, которые будут переозвучены. Не беда, что монтаж рваный, стилистика клиповая. Но точность композиции — главное. Всё по сюжету: в толпе местных прихожан герой и его “враг”... Крестный ход, хорутви поручают нести именно им... Солнце садится и восходит над землёй приднестровской... Молдаване и русские вместе пьют вино, крестят детей, танцуют... Солнце заходит и встаёт над землёй благодатной.

...И вот — мордобой; камера фиксирует оплеухи и ссадины, плевки и взаимные упрёки. “Будет война!” — объявляет жене герой фильма; жена забирает из рук спящего ребенка плюшевую зверушку... Колонна бронетехники катит по автотрассе среди полей и виноградных холмов; концентрируется на подступах к городу... Дальше — кадры войны. Граждане бегут, на секунды опережая рвущиеся снаряды... Первые жертвы... Под гусеницами танка просматривается плюшевая зверушка...

И вот главный эпизод — поединок врагов.

Режиссёр Резонтов задумчиво ходит по номеру, его гложет дума: нет у фильма какой-то главной метафоры. Ведь фильм — это не просто цепь событий и драматических коллизий, это послание будущим поколениям, а не просто мастерски сработанный боевик. А у него выходит всё же боевик... Да и название необходимо сменить; в нынешнем слышится что-то тривиальное, с патетикой: “Форпост”.

Резонтов вознамерился разыскать Нину Фёдоровну, “местную святую”: что-то не давало ему покоя в её словах о сыне, который *живеет всех живых*. Но прежде ему нужно было побывать там, куда она так настойчиво его зазывала. Вместе с оператором Резонтов отправился в ту часть города у Днестра, где шли бои.

Предвечерние улочки уютного многострадального города, насчитывающего в своей истории немало — шестьсот лет...

Режиссёр надвинул на глаза бейсболку и надел чёрные очки, чтобы случайно никто его не узнал. Он внимательно всматривался в лица горожан. Люди, вкусившие запах пороха и крови, думал он, являются носителями *некоего знания*. Пускай причины войны, исторические и политические следствия остаются для них тайной за семью печатями, но пережившие войну — кто в подвале, кто на передовой, кто в роли беженца — знали то, что он, режиссёр Резонтов, силится сейчас познать методами искусства. Возможно ли это?!

Они вышли с оператором к парапету набережной. Солнце садилось. Вокруг тишина, покой, отдохновение. Спустились к реке, пошли по тропинке вдоль кромки воды. Молча.

И вот уже показались впереди развалины судовых мастерских. Место, окутанное легендами.

Вокруг — быльё в человеческий рост (в местном климате бурьян и зимой не усыхает!) и сухие деревья — будто специально всё устроено для пущей убогости и нарочитой разорённости здешнего речного хозяйства.

Оператор с переносной камерой всё снимает: гильзы под ногами, часть якорной лебедки, ковши для добычи песка со дна реки, борт лодки, уходящее за горизонт солнце...

Анфилада произвольных помещений, пронизанных жгучей лучистостью заходящего солнца, которое струится из расщелин. Иные клетки темны и черны; иные — освещены ярко, в зависимости от разрушения конструкций. Стены в следах от пуль и осколков.

— Странно! — воскликнул Резонтов. Эхо отозвалось: “но-но-но...”

— Почему Нина Федоровна упорно зазывала нас сюда?

Так и шли они — в помыслах о “святой” Нине Фёдоровне — от одного заваленного помещения, где стояли верстаки, ящики для инструментов, голые станины, к другому, где были следы крови на стенах и отметины от пуль.

— В этих камерах народу полегло не меньше, чем в других узлах оборонены, — заметил режиссёр. — Краеведы докладывали о том, что происходит здесь нечто потустороннее. Всякое там сияние и звуки... Жители бегут

из этих мест. Боятся. А эта блаженная... Нет, что-то тут есть, загадка какая-то...

— Нам её уже не разгадать. Съёмочное время кончилось. Фильм практически готов... Пора домой, — вздохнул оператор.

— Кто знает, — задумчиво произнёс Резонтов.

Наконец они добрались до углового помещения. Бетонный пол был чисто выметен. Оконные проёмы с выгоревшими остовами рам давали в это время освещение, о котором киношники могли только мечтать: не нужно софитов и дымных завес... Режиссёр и оператор оторопело смотрели на стену, где в свете заходящего солнца оживало *нечто*... И *оно* питалось закатным солнцем и цветами, выставленными у стены, словно у подножия памятника, в горшках с землёй и в банках с водой. И цветы были живыми; и вечерний свет — живым! И нельзя было оторвать взгляда от этой стены и от этого *не-что*. Но чудо длилось недолго: солнце меняло градус склонения над землёй, лучи уходили выше, стена меркла.

— Вот почему Нина Фёдоровна говорила, что приходиться сюда нужно на закате... Абрис убитого выстрелом из гранатомёта выведен на стене кровью...

— Есть аналогии, — возбуждённо заговорил оператор. — Например, отпечаток доисторической ящерицы на спёкшемся песчанике... Или христианская реликвия: плащаница, хранящая Лик Христа... Или “снимок” мамонта, на срезе скалы, убитого при неизвестных обстоятельствах. Камень запечатлел это мгновение. И здесь...

— Я, было, подумал, что это какое-то странное напыление... — произнёс Резонтов. — Нет... При закатном свете отчетливо видно — это будто Ангел взметнувшийся... Руки — будто крылья, и переломленный торс...

— Цветы свежие, — заметил оператор. — И в горшках политы...

— Я думаю, сюда не только Нина Фёдоровна приходит.

И тут они оба замерли: в помещение вошёл старик с букетиком полевых цветов, знакомый из той толпы, которая окружала съёмочную площадку:

— Я ведь когда-то работал здесь... — сказал он. — Здесь на стене — подобие иконы... И свечение особенное... В этом помещении и хранили, и плавил техническое серебро для корабельных нужд. Элемент светочувствительный. Разрыв снаряда сработал, как фотовспышка... Вот и вошёл сынок Нины Фёдоровны в вечность... — Старик поклонился и ушёл тихой старческой походкой.

— Вот она — метафора фильма! — негромко воскликнул режиссёр Резонтов. — Надо снять всё здесь в самом естественном свете... Заключительные кадры... Разрушенные мастерские и *святая* стена... Нет, главная сцена не та, где герой убивает врага. Главная сцена — тишина и скорбь. Святая старуха, старик, горшок с цветами...

Оператор кивал головой.

— И ещё надо доснять массовые сцены, — продолжал режиссёр, — чтобы был крупный план тех, кто реально всё это видел... Искусство требует образности!

Оператор задумчиво огляделся, словно искал ещё чего-нибудь примечательного, что мог бы ухватить его объектив, потом спросил:

— Зачем нужна была эта война?

— На этот вопрос мы никогда с тобой не ответим. Мы же сюда кино приехали снимать, — усмехнулся режиссёр Резонтов.